

# Теория в гуманитарных науках: функции и практики.

## Разговор Михаила Велижева и Андрея Зорина

◇ eSamizdat 2024 (XVII), pp. 277-288 ◇

**А**НДРЕЙ ЗОРИН – профессор Оксфордского университета (Англия), один из ведущих специалистов по истории русской литературы, интеллектуальный историк, пишущий и размышляющий над вопросами методологии гуманитарного знания. Наш разговор продолжает издательскую линию, намеченную в предыдущем выпуске журнала "eSamizdat" и связанную с рефлексией о теоретических основаниях филологической и исторической науки. Год назад мы обсуждали микро-историю с проф. Карло Гинзбургом, на этот раз мы предлагаем вниманию читателей разговор с ученым, чья профессиональная биография в равной степени связана с Россией и западным миром. Пользуясь случаем, мы благодарим Марию Емельянову за расшифровку интервью.

МИХАИЛ ВЕЛИЖЕВ

### ЗАЧЕМ НУЖНА ТЕОРИЯ?

**Михаил Велижев.** Первый вопрос: зачем историку размышлять о собственной методологии? Мне кажется, здесь важно оговорить, что существует огромное количество специалистов, которые занимаются конкретными сюжетами – национальными или даже транснациональными, интерпретацией отдельных исторических фактов – и при этом не задаются вопросом о том, зачем нужна теория. Часто метод воспринимается как нечто само собой разумеющееся: можно заниматься позитивистской наукой, в лучшем смысле этого слова, но без всякой теории. Другое дело, что, если мы хотим, чтобы нас читали не только те, кто занимается нашей же областью исследований, мы должны размышлять о том, какую пользу наша работа способна принести другим гуманитарным дисциплинам. И это неизбежно подводит нас к

теории, не только к тому, к каким заключениям мы приходим, но и к тому, как мы строим наши разыскания, что мы делаем с материалом. Как Вы думаете?

**Андрей Зорин.** Я с Вами согласен, но Ваш ответ охватывает только один круг вопросов, касающийся прагматики текста. Кроме заботы о потенциальных читателях и расширении их круга, есть еще аспекты, связанные с самой работой и ее содержанием. Прежде всего, существует известная мысль, она была сформулирована уже больше 100 лет назад, что если ты не рефлексируешь собственные теоретические предпосылки, то твоя работа не становится тем самым чисто эмпирической. Она все равно основывается на каких-то более общих теоретических подходах, просто сформулированных кем-то другим, что совершенно нормально, а тобой не отрефлексированных, что много хуже. Даже если ты составляешь справочник или публикуешь архивные документы, все равно встают вопросы, что включать, а что нет, что публиковать и комментировать, а что оставить без внимания и почему, что ты вообще ищешь в архиве. Все равно твоя работа отвечает на какие-то вопросы, и она начинается с постановки исследовательской задачи. Если ты сам не в состоянии это отрефлектировать, значит ты работаешь с моделями, как правило, наиболее общепринятыми в твоём ближайшем кругу. Совершенно не обязательно вносить вклад в теорию, кто-то хочет и может такой вклад внести, а кто-то нет, но продумывать и артикулировать хотя бы для себя предпосылки, на которых основана твоя работа, по-моему, важно. Я уже не говорю, что все мы пользуемся какой-то терминологией. Полезно задаваться вопросом, в каком значении ты употребляешь те или иные

слова и почему, откуда они взялись. Иначе тебя могут понять совершенно превратно. Еще Мольер заметил, что человек говорит прозой, но сам этого часто не знает. Ученому лучше работать осознанно.

**М.В.** Я согласен с Вами, и вот что ещё интересно: часто интерес к теории банализируется. Есть такая ходовая схема: берётся некая модная теория, и затем с трудом, с мучениями, собственный материал как-то под неё подстраивается. Мне всегда казалось, что теория должна работать обратным образом: разные теоретические подходы позволяют лучше интерпретировать собственный материал. Вообще представление о том, что теория нужна только потому, что она модная, потому что все занимаются ею, — это, конечно, абсурд. Наш материал всегда остаётся просто материалом, пока мы не зададим ему вопросы. Откуда брать эти вопросы? Методология или теория как раз и представляет собой набор вопросов к материалу. И наша задача — понять, какие вопросы нам самим интересны, какие нам представляются более релевантными и позволяют достичь лучших научных результатов.

**А.З.** Я тоже так думаю. Теоретическая рефлексия, продумывание предпосылок и прочее необходимы прежде всего для того, чтобы лучше понять материал, соединить исследователя и материал. Вы правильно сказали, что пока ему не заданы вопросы, материал остается мертвым. Есть ещё одна сторона дела. Мы с Вами всё-таки занимаемся историей. Всё, о чём мы говорим, было давно, все уже умерли, и вопрос “Почему это может быть интересным?” существенен. Если им не задаваться, есть риск влезть в совершенно интеллектуально нерелевантную проблематику. Впрочем, это еще полбеды сравнительно с противоположной опасностью — начать навязывать материалу собственную сегодняшнюю проблематику, — искусственно подгонять его под готовые конструкции, впихивать материал в теории как в Прокрустово ложе. Это происходит тогда, когда ты в своих теоретических предпосылках видишь не вопросы, а ответы.

То есть если теория помогает тебе корректно поставить вопрос, связать специфику материала с тем, что для тебя актуально, это, на мой взгляд, профессиональное отношение к теории, которое повышает уровень твоего анализа. Если же ты приносишь в предмет ответы, заданные теорией, то дело плохо, потому что ты увидишь в давних текстах и событиях своё отражение и ничего нового и важного никогда не поймешь.

**М.В.** Да, это и есть классический пример презентизма, описанный Франсуа Артогом<sup>1</sup>.

**А.З.** Да, конечно. Презентизм очень удачный термин. Он и неплодотворен, и нарциссичен.

### ТЕОРИЯ И ГУМАНИТАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

**М.В.** Еще один важный сюжет — проблема исторического образования, которую отчасти пытаешься решить журнал, для которого мы записываем интервью (“eSamizdat”). Это вопрос о том, как молодые исследователи и аспиранты должны работать с теорией. Итальянская система образования, особенно в области истории и филологии, не очень расположена к теории. Теоретических курсов мало, а курсы скорее историко-литературные или просто исторические. Мои коллеги, научные руководители, сталкиваются с очевидной проблемой: при колоссальных требованиях к публикационной активности, которые необходимы для получения рабочего места, у аспирантов просто нет времени, чтобы оглядеться, почитать книги, которые, возможно, напрямую не касаются их материала, но относятся к другим эпохам, другим сюжетам. С Вашей точки зрения, нужны ли курсы по теории для историков и филологов? Если нужны, то как их разумно устроить? И третий вопрос, который касается Вашего опыта: как это было устроено в тех институциях, в которых Вы работали, например, в Шанинке (Московской школе социальных и экономических наук) и Оксфордском университете?

<sup>1</sup> F. Hartog, *Régimes d'historicité. Présentisme et expériences du temps*, Paris 2003.

**А.З.** Вы подняли множество разных вопросов, и, прежде всего, поставили вопрос о прагматике. Вы правильно ограничили его, так как речь идет именно о *postgraduate education* (магистратуре и аспирантуре), то есть о студентах, которые приняли или принимают решение стать профессиональными гуманитариями. Бакалавриат — это совсем другая тема. Действительно при нынешней катастрофе на рынке труда молодой ученый сталкивается с бессмысленными и непропорциональными требованиями к собственной публикационной активности. Это, конечно, связано и с бюрократизацией процесса академической жизни, недоверием к экспертизе, с тем, что добросовестность принимающего решения вызывает сомнения и усиливается роль формальных показателей. Однажды, когда я участвовал работе комитета по отбору претендентов на преподавательскую должность, мы обсуждали кандидатуру довольно молодого коллеги, у которого на момент подачи заявления было одиннадцать книг. Я сказал, что, с моей точки зрения, этого достаточно, чтобы его не включать в шорт-лист. Другие члены комитета, в общем были со мной согласны, но сказали, что при таких данных не включить соискателя в шорт-лист мы не имеем права. Интервью прошло, и всем все стало ясно мгновенно. Конечно, этот бедняга пал жертвой помешательства на количественных показателях. Может быть, если бы не эта ударная возгонка, он мог бы написать что-то хорошее и достойное. Очень неглупый сам по себе был человек. Кстати, естественные науки от этого страдают не меньше, чем гуманитарные.

**М.В.** Как, на Ваш взгляд, можно решить эту проблему? Как должны быть устроены курсы по теории, которые могли бы сделать работу аспиранта более осмысленной?

**А.З.** Никакая перестройка курсов не решит проблемы бюрократизации образования. Это требует институциональных решений, скорее всего, на государственном или надгосударственном уровне. Что касается курсов, понимаете, Оксфорд, как и

английская система высшего образования в целом, всегда были довольно настороженны к теории. Однако сейчас это меняется. У нас на факультете в магистратуре есть обязательные курсы по теории. Можно выбрать между теорией литературы и сравнительным литературоведением (*comparative literature*). Эти курсы дополняют специализированную подготовку. Здесь, однако, возникает очевидная проблема. Теория литературы многообразна и велика, и невозможно вместить её всю в рамки одного курса. Увеличение его объёма неизбежно выдавит специальные курсы, которых и так не хватает. В результате теоретический курс представляет собой пробежку по методам исследования от формализма до современных антиколониальных исследований — насколько это полезно, судить не берусь. В моей собственной практике, на нашей кафедре, я практикую другой подход. Не каждый год, но несколько раз мы организовывали теоретический семинар, на котором каждый участник, пишущий магистерскую или аспирантскую диссертацию, рассказывает о теоретических проблемах, с которыми он сталкивается в своей работе. Во-первых, это помогает ему самому глубже обдумать эти самые вопросы. А других участников семинара это знакомит с теоретическими концепциями, к которым они сами не обращаются. Я не стремлюсь добиться от магистрантов или аспирантов вклада в теорию, но хочу, чтобы их работы были теоретически отрефлексированы. Организация такого семинара, конечно, зависит от наличия критической массы аспирантов и магистрантов (нужны минимум 4-5 человек), заинтересованных в такой дополнительной нагрузке.

**М.В.** Мне кажется, это самое сложное. Действительно, каждый историк, размышляющий над собственным методом, имеет свои предпочтения в области теории. И, разумеется, здесь принцип плюрализма является базовым. Тем не менее, я хотел бы спросить: если бы Вы строили курс по теории, то о каких теориях Вы говорили бы? Мне хотелось бы немного отойти от теоретического к более эмпирическому уровню. С Вашей точки зре-

ния, для аспиранта, который занимается историей русской культуры в её связях с европейской, какие теории если не обязательны, то желательны?

**А.З.** Тут есть две разных проблемы. С одной стороны, молодому человеку, входящему в профессию, полезно быть в курсе текущих дебатов и разбираться в актуальных теориях. С другой стороны, я могу преподавать только то, что сам считаю интересным и плодотворным. Я бы не стал, например, преподавать деконструкцию. Я готов согласиться с тем, что это очень полезно, и может привести к серьёзным интеллектуальным результатам. Я лично знаю людей, которым доверяю и которые так думают. Тем не менее, я не стану этого преподавать, потому что молодые люди ничему от меня в этой области не научатся.

**М.В.** Андрей Леонидович, но это отрицательное определение: то, что Вы *не* будете преподавать. Давайте перейдем к положительному.

**А.З.** Мои интересы связаны с историзацией и контекстуализацией текстов и событий. Я бы, безусловно, преподавал антропологический подход к литературе и истории. Я давний приверженец гирцевской антропологии, которая сегодня иногда воспринимается как устаревшая, но мне кажется до сих пор недооценённой. Я бы, конечно, преподавал бы микро-исторические подходы. И, наверное, останавливался бы на дисциплинах, связанных с человеком в истории: истории эмоций, интеллектуальной истории. Из очень модного, мне кажется вполне перспективной социология Пьера Бурдьё. Я понимаю, как можно с этим работать и что это может дать. Когда аспиранты хотят, чтобы я руководил их диссертациями, я обычно смотрю, какие теоретические модели их привлекают. Я стараюсь, чтобы мои рамки были достаточно широкими. Но, наверное, если какой-то молодой коллега скажет, что хочет опираться на нео-фрейдизм или на Дерриду, я отвечу, что это похвально, но есть и другие руководители, которые могут помочь ему лучше, чем я.

### **Кормя двуглавого орла... и Появление героя: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА**

**М.В.** Сейчас я бы перешел к вопросам, связанным с Вашими книгами — прежде всего с двумя: *Кормя двуглавого орла...* и *Появление героя*<sup>2</sup>. Как их читатель, я не могу не отметить двойную функцию методологических и теоретических предисловий к этим работам. С одной стороны, они проясняют Ваш подход и позволяют понять, какие шаги, связанные с анализом конкретного материала, Вы предпринимаете в дальнейшем. Но, конечно, нельзя сбрасывать со счетов и вторую функцию, а именно, разговор о конкретной методологии. В первом случае — об истории идеологии, во втором — об истории эмоций. Вы не только проясняете смысл того, что делаете, но и вводите в научный оборот теоретические принципы двух гуманитарных субдисциплин. Почему Вы решили писать Ваши книги именно так, а не иначе? Как сделать, чтобы введение органично связывалось с тем, что за ним следует? Так, чтобы не создавалось впечатление, будто введение существует отдельно, а дальнейший анализ — отдельно. Я сам сталкивался с этой проблемой, когда писал книгу о Чаадаеве<sup>3</sup>. В итоге я не стал писать большого методологического введения, а к каждой главе предпослал небольшой фрагмент с экспликацией метода. Это было связано с тем, что теорий, к которым я обращался, было довольно много, и я понял, что не смогу изложить их в рамках одной вступительной главы. Каков Ваш собственный опыт?

**А.З.** Если речь идет об этих двух монографиях, то роль теоретических введений в них разная. В первой моей книге про идеологию не было теоретических амбиций. Слово 'идеология' было совершенно затаскано, и во введении я хотел объяснить русскоязычному читателю свой подход к пробле-

<sup>2</sup> А. Зорин, *Кормя двуглавого орла...: Русская литература и государственная идеология в последней трети XVIII — первой трети XIX века*, Москва 2001; Он же, *Появление героя. Из истории русской эмоциональной культуры конца XVIII — начала XIX века*, Москва 2016.

<sup>3</sup> М. Велижев, *Чаадаевское дело: Идеология, риторика и государственная власть в николаевской России*, Москва 2022.

ме, который был относительно нов в российском контексте, но в более широкой перспективе не претендовал на особую оригинальностью. Я тоже нарвался на упрек, что это не имеет отношения к дальнейшим частям. По остроумной метафоре критически отозвавшейся о моей книге Дины Хапаевой, “я не пустил гостя дальше прихожей”, то есть ссылаясь на Клиффорда Гирца только во введении. Я не готов принять этот упрек. Мне кажется, что обоснованный во введении взгляд на идеологию как на систему метафор вполне реализован на протяжении всей книги. И без теоретического введения читателю было бы трудно до конца понять, что я делаю в исторических главах. Поскольку Гирц никогда не писал о российской государственной идеологии XVIII-XIX веков, я не видел необходимости его цитировать в основном тексте. Во введении я заявил общий подход к теме, а дальше уже применял его. . . Вторая моя книга устроена по-другому, поскольку там все-таки есть определенные теоретические амбиции. История эмоций — это довольно молодая дисциплина, ей сейчас около 40 лет, а когда я писал, было около 30. В центре ее внимания всегда были групповые переживания. Историкам эмоций удалось показать, что человеческие переживания носят культурный характер и соответственно принадлежат сообществам. На этом пути дисциплина добилась огромных успехов. Мне захотелось попробовать сделать следующий шаг и задаться вопросом, как в рамках групповых моделей эмоции оказываются возможными специфические индивидуальные переживания. Как говорить о внутреннем и личном, избегая беллетристики? Какой категориальный аппарат можно предложить для такого анализа? Мне казалось, что в этом подходе некоторая, хотя и ограниченная теоретическая новизна. Поэтому, естественно, мне надо было в исторических главах обращаться к теоретическим вопросам намного больше, чем я делал это в первой книге. Мне уже доводилось приводить один поучительный, на мой взгляд, пример из истории работы над ней. Во время изучения архива Михаила Муравьева мне удалось выяснить, что он писал жене в одни и те же дни по два разных письма — одно по-французски,

другое по-русски. Я никак не мог объяснить, зачем он это делает. Пятнадцать лет переписанный мной архивный документ лежал в ящике стола, потому что я не знал, как с ним работать. Потом я прочитал книгу Барбары Розенвейн *Emotional Communities in the Early Middle Ages*<sup>4</sup>, и вдруг мне все стало ясно. Очевидно, что раннее Латинское Средневековье находится предельно далеко от русского XVIII века, но ее теоретическая модель позволила мне вернуться к ранее непонятному материалу и истолковать его. Конечно, связь между теоретическим введением и историческими главами должна была здесь быть не то чтобы глубже, чем в первой книге, но отчетливей и эксплицитней прописана.

**М.В.** Андрей Леонидович, а что происходит при переводе ваших книг на английский язык?

**А.З.** Мне трудно судить. *Кормя двуглавого орла* . . . переведена полностью, а *Появление героя* оказалось слишком длинным. Мне пришлось сильно сократить текст для перевода, не столько из соображений экономии грантовых денег на оплату переводчика, а главным образом по содержательным соображениям. Книга, конечно, была затянута. Сначала я вообще написал 750 страниц, потом понял, что это издевательство над читателем и сократил до 570 страниц, что тоже слишком много. Но дальше я придумал целую теорию, почему её нельзя сократить ещё больше. Я объяснял (прежде всего сам себе), что у меня сверхкрупный план, при котором нужно быть очень подробным, чтобы важные детали не пропали и всё прочее. Мне вполне удалось себя в этом убедить. А потом пришлось готовить текст для перевода. Получилось 420 страниц и стало, на мой взгляд, только лучше. Книжка сильно выиграла от того, что ещё тридцать процентов текста ушло под нож.

**М.В.** Я думаю, что здесь уместно упомянуть Андрея Курилкина, редактора наших с Вами книг, который, мне кажется, является сторонником про-

<sup>4</sup> B. H. Rosenwein, *Emotional Communities in the Early Middle Ages*, Ithaca-London 2006.

дуктивного сокращения.

**А.З.** Да, Андрей — замечательный редактор: изумительный глаз, очень точное чутье. Он редактировал обе мои книги, и я ему бесконечно благодарен. Кроме того, приятно работать с редактором, который является таким профессионалом в деле, которым ты занимаешься.

**М.В.** Каковы были отклики на английские переводы Ваших книг?

**А.З.** Я получил много откликов англоязычных читателей на обе монографии: на первую больше, на вторую немного меньше. Общая реакция была очень позитивной, рецензенты хвалили. Но никто из них не обратил внимания на теоретические модели. Западных читателей заинтересовал анализ материала. В случае с *Появлением героя* я был чуть разочарован, мне бы, конечно, хотелось, чтобы некоторые мои теоретические идеи были замечены, но с другой стороны — если нет, значит, нет. Быть недовольным реакцией я не могу.

### Толстой

**М.В.** Андрей Леонидович, мне кажется, в этот момент уместно перейти к тому, чем Вы сейчас занимаетесь: к Толстому. Вы написали краткую по объему биографию Толстого, которая вышла по-русски и по-английски<sup>5</sup>, и сейчас пишете книгу совершенно другого характера о том же авторе. Какова роль теории в Ваших нынешних исследованиях?

**А.З.** В биографии эта роль, наверное, не просматривается, хотя я все равно стремился самому себе отдавать отчет в том, что я делаю, каков мой подход, какие вопросы я задаю Толстому, зачем пишу? Но в книге для массового читателя леса убираются. Для меня разница между популярной и научной книгой заключается не в том, что в популярном тексте я свободен от обязательства гово-

рить что-то новое и знакомить читателя с результатами своих исследований, но в том, что в такого рода тексте я не могу приводить доказательства и вынужден просить читателя, чтобы он мне верил на слово. Один мой замечательный коллега сказал мне, что это разумный подход, но я переставил этапы работы. Надо было сначала опубликовать все статьи с подобной аргументацией, а потом написать популярную книгу, отослав тех, кому это интересно, к публикациям. В этом есть смысл. Я действительно поменял последовательность, потому что для меня биография была вхождением в тему. Но сейчас я пишу монографию и здесь мне бы хотелось проработать какие-то теоретические сюжеты. Для меня эта книга преемственна по отношению к *Появлению героя*. Там я писал о “пилотном выпуске” русской романтической личности — как она появляется и формируется. Сейчас я описываю высшую точку в развитии русской романтической личности. Преемственность того, что я вижу в Толстом, по отношению к ранней романтической традиции, на мой взгляд, чрезвычайно велика. Здесь я снова обращаюсь к соотношению культурных моделей и личного опыта в индивидуальном переживании. Я не хотел бы повторяться, но можно развить эту тему, поставив вопрос о соотношении автора и текстов.

**М.В.** Андрей Леонидович, какие теоретические книги Вы читали в последнее время? В связи с исследованием о Толстом, разумеется.

**А.З.** Я перечитываю классическую герменевтику. Толстой был современником Дильтея, для меня интересно, что они думали практически об одном и том же. И проблема *Erlebnis* была для Толстого не менее важна, чем для Дильтея. Я планирую начать с *Что такое искусство?*, прочитанного как автобиографический текст и попытаться применить теоретические модели, которые разрабатывал Толстой, к анализу его собственной жизни, философии и художественного творчества.

**М.В.** Андрей Леонидович, когда мы с Вами договаривались об интервью, Вы сказали, что ны-

<sup>5</sup> А. Зорин, *Жизнь Льва Толстого. Опыт прочтения*, Москва 2020; A. Zorin, *Leo Tolstoy*, London 2020.

нешний Ваш интерес к теории гораздо ниже, чем был прежде. Всё-таки, из того, что Вы сказали, следует, что и в книге о Толстом будет теоретическое введение, возможно, не столь обширное, как в случае с *Появлением героя*, но тем не менее.

**А.З.** Ну да, но это немножко другой подход к теории. Здесь для меня теория — это часть истории. Толстой был теоретиком. Понимаете, Андрей Иванович Тургенев не был теоретиком, не были ими и герои *Кормя двуглавого орла*. . . Жуковский писал что-то теоретическое, но актуального значения его идеи не имеют. Толстой же был очень крупным теоретиком, недооценённым, потому что в своем главном эстетическом трактате он решал слишком много внешних задач, вносил туда много личного. Но в этом интересно разобраться. Я пытаюсь не применить какие-то теории к изучаемому материалу, а вытащить аналитические модели из самого материала, благо, он даёт такую возможность, и постараться на их основании анализировать тексты. Пушкин говорил, что художника надо судить на основании законов, им самим над собой признанных. Я не думаю, что надо кого-либо судить на основании каких-либо законов, во всяком случае, я не пытаюсь это делать. Но анализировать — да. Если заменить глагол ‘судить’ на ‘анализировать’, ‘интерпретировать’ или ‘обдумывать’, то, мне кажется, что этой формулой я и пытаюсь пользоваться.

### АМЕРИКАНСКИЙ ОПЫТ

**М.В.** Теперь я бы хотел поговорить о Вашем опыте уже не как автора книг, а как учёного, который в какой-то момент оказался между двумя странами — Америка и Россией. Когда Вы, как историк, начали интересоваться теорией? Как изменилось Ваше отношение к теории, когда Вы стали ездить в Америку и знакомиться с теми авторами, которых Вы прежде читали, но которых не знали лично?

**А.З.** Я был продуктом далёкой периферии Тартуской школы. В профессиональном кругу, в кото-

ром я формировался, теорией было принято интересоваться. В Тарту ездили, Лотману смотрели в рот, и когда он приезжал в Москву с лекциями, висели на люстрах. Поэтому никак нельзя сказать, что я поехал в Америку узнавать, что существует теория. Тартусско-московская школа была одной из лидирующих в мировом масштабе. Но, тем не менее, в какой-то момент я почувствовал, что это меня перестаёт удовлетворять. У меня не было желания сжигать всё, чему я преклонялся, но я чувствовал потребность найти что-то, что, с одной стороны, было бы связано с этим и преемственно по отношению к этому, а с другой свободно от начавшего меня стеснять сциентизма. Потом мне невероятно повезло. Я попал на летнюю школу *East West School* в Париже для специалистов по XVIII веку из бывшего соцблока и западных стран. Это было одно бесконечное счастье и с научной и человеческой точки зрения. Я помню, как мы там познакомились и подружились с Ларри Вульфом, и до сих пор это для меня очень важные человеческие и профессиональные отношения. Но абсолютно главным событием, перекрывающим впечатления от Парижа, была встреча с Робертом Дарнтоном, великим историком французского Просвещения. Роберт, а он человек, наделенный необыкновенно сильной харизмой, рассказал мне о Гирце, о котором я, к своему стыду, к тому времени слышал, но никогда не читал, рассказал, как они ведут совместные семинары в Принстоне, и что его задача — это применять аналитические модели Гирца к истории, как он сделал в его знаменитой книжке *Великое кошачье побоище*<sup>6</sup>. Естественно, вернувшись из Парижа, я это всё прочитал внимательнейшим образом, и это меня профессионально сформировало на всю жизнь. Это был 1994 год, больше 30 лет прошло с этого прекрасного лета. Потом мне довелось встретиться с Гирцем, мы с ним разговаривали один раз. Я написал статью о Гирце и Лотмане, где сравнивал их модели, она в переработанном виде вошла в качестве теоретического введения в мою книгу, а полностью была опубликована в журнале *History*

<sup>6</sup> R. Darnton, *The Great Cat Massacre and Other Episodes in French Cultural History*, London 1984.

*and Theory* на английском языке<sup>7</sup>. Гирц прочёл её, и она ему понравилась. Лотману мне, к сожалению, её показать не удалось по уважительной причине, поскольку его уже не было в живых. По инициативе замечательного историка Лоры Энгельштейн, в Принстоне было организовано обсуждение статьи с участием Дарнтон, Лоры, и ещё нескольких ученых. Потом, за ужином, меня посадили вместе с Клиффордом, мы с ним поговорили, но меня никто не предупредил, что Гирц был необыкновенно застенчивым и молчаливым человеком. Вероятно, как профессиональный антрополог со своими информантами он как-то по-другому себя вел, но я был сильно фрустрирован. Он задавал мне вопросы, но на мои вопросы отвечал очень кратко, вообще был предельно любезен и мил, но я мало что от него добился. После ужина коллеги, включая Дарнтон, мне сказали: “Мы смотрели на Клиффорда, какой он был оживлённый, активный” — оказалось, у него была слава человека, который вообще не разговаривает. Поэтому в личном общении с Гирцем главным для меня был сам факт, что эта встреча состоялась, а не содержание разговоров. В смысле понимания личности Гирца решающую роль сыграла для меня не личная беседа, а его научная автобиография<sup>8</sup>. Когда я ее прочитал, я испытал в первый (и в последний) раз в моей жизни потребность немедленно перевести ее на русский язык. Я почувствовал, что мне важно было найти свои слова для этого текста, настолько он для меня оказался значим и важен. Впрочем, задача оказалась куда более сложной, чем мне представлялось вначале и без помощи своей жены, профессиональной переводчицы, я бы, думаю, не справился. Потом этот перевод был опубликован в “Новом литературном обозрении”<sup>9</sup>.

**М.В.** Андрей Леонидович, а британский опыт?

<sup>7</sup> А. Зорин, *Ideology, Semiotics, and Clifford Geertz: Some Russian Reflections*, “History and Theory”, 2001 (40), 1, с. 57-73.

<sup>8</sup> С. Geertz, *Available Light. Anthropological Reflections on Philosophical Topics*, Princeton 2000; см. также: С. Geertz, *After the Fact. Two Countries, Four Decades, One Anthropologist*, Cambridge [MA] 1995.

<sup>9</sup> К. Гирц, *Путь и случай: Жизнь в науке*, пер. с англ. А. Зорина, “Новое литературное обозрение”, 2004, 70, с. 10-24.

С какими теоретиками Вы встречались? Со Квентином Скиннером Вы знакомы?

**А.З.** Нет. Скиннера я видел один раз из аудитории, когда он приезжал в Оксфорд читать лекцию, слушал, как он отвечает на вопросы, но разговаривать с ним мне не доводилось. Из британских крупных теоретиков я ни с кем не знаком близко. Из американских мне случалось общаться с Хейденом Уайтом...

**М.В.** Я не могу не полюбопытствовать: всё-таки Хейден Уайт методологически чрезвычайно далёк от Гирца и от нас с Вами. Как складывались Ваши с ним беседы?

**А.З.** Хейден Уайт это, конечно, *not my cup of tea*. Его главная идея читать исторические нарративы как художественный текст продуктивна, с ней можно можно интересно работать. Другое дело, что его собственные аналитические разработки в этой области, составившие его прославленную книгу *Метаистория*<sup>10</sup>, методологически простодушны до предела. Если уж настаивать на литературоведческом чтении историографии, надо обладать серьезной литературоведческой квалификацией. Кроме того, совершив в молодости выдающийся интеллектуальный прорыв, он потом 50 лет себя переписывал и повторял одно и то же. Но разговаривать с ним, конечно, было интересно. Мы с ним спорили, он был яркий, умный и живо реагирующий на возражения человек.

### СОВРЕМЕННАЯ ГУМАНИТАРНАЯ НАУКА

**М.В.** Из того, что опубликовано, скажем, за последние десять лет в области теории гуманитарного знания или исторических исследований, которые имеют мощный теоретический фундамент, что Вам интересно? Может быть, это никак не связано с Вашими изысканиями, но что Вам показалось интеллектуально сильным в области теории?

<sup>10</sup> Н. White, *Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe*, Baltimore 1973.

**А.З.** В области теории мой взгляд был определен сюжетами, которыми я занимался. Я много читал про историю эмоций. Как я уже сказал, на меня сильное впечатление произвела книга Барбары Розенвейн *Эмоциональные сообщества в раннем Средневековье*. Она сыграла огромную роль в моей работе над *Появлением героя*. Я с интересом читал книги Марты Нуссбаум. Она скорее философ, и обычно историко-культурные книги с сильным философским уклоном я пережевываю с трудом и некоторым недоверием. Но её работы оказались для меня продуктивными. Конечно, для меня очень важна микроистория Карло Гинзбурга мне странно даже упоминать в диалоге с Вами, ведь Вы практически являетесь его инкарнацией в русскоязычном культурном пространстве. Я большой его фанат, а переведённая Вами *Загадка Пьеро* произвела на меня сильнейшее впечатление<sup>11</sup>. Действительно, просто дух захватывает от виртуозности и теоретической глубины того, как он пишет. Я знаю, что у многих искусствоведов есть возражения, но, возможно, это скорее цеховая ревность. Как Вы хорошо знаете, культура итальянского Возрождения, как и раннее Средневековье или ритуалы, принятые на Бали, очень далеки от сферы моих профессиональных интересов. Но сила ума и аналитическая острота производят сильнейшее впечатление. Ещё я недавно прочел монографию Уильяма Кларка *Академическая харизма и истоки исследовательского университета*<sup>12</sup>, от неё дух захватывает. Когда ты понимаешь, откуда взялись и какую роль играли институции, в которых проходит твоя профессиональная жизнь и академические ритуалы, в которых ты участвуешь, это незабываемый опыт. Конечно, у этого сверх фундированного эмпирического исследования есть мощная теоретическая подкладка: историческая социология науки, социальное производство знания и т.п.

<sup>11</sup> К. Гинзбург, *Загадка Пьеро*, пер. с ит. М. Велижева, Москва 2021; перевод книги: С. Ginzburg, *Indagini su Piero*, Torino 1981 (в основу перевода было положено переиздание монографии 1994 года).

<sup>12</sup> W. Clark, *Academic Charisma and the Origins of the Research University*, Chicago 2006.

## Россия

**М.В.** Андрей Леонидович, в заключение я хотел бы поговорить о России, хотя этот разговор сложный, и, возможно, он требует отдельного интервью. Понятно, что существует Великая тройка — формалисты, Бахтин, Лотман, они являются наиболее известными представителями советской и русской теории. Однако меня больше интересует сегодняшнее состояние теории в России. Когда я говорю ‘сегодняшнее’, требуется масса пояснений. Что значит ‘сегодняшнее’: в контексте войны или ‘сегодняшнее’ до её начала? Чтобы конкретизировать вопрос, я хотел бы вспомнить Сергея Леонидовича Козлова. Мне кажется, что он, вместе с Сергеем Николаевичем Зенкиным, был одним из представителей большой теории в России. Если вспоминать о Сергее Леонидовиче и его интересе к теории, как бы Вы могли описать его роль вообще в истории постсоветской гуманитарной науки в России?

**А.З.** Сережа... Мы с ним были дружны со школьных лет, и мне трудно о нем говорить, как о ‘Сергее Леонидовиче’. Сергей Козлов был, прежде всего, человеком выдающегося ума. Меня всегда поражало, какой он умный. О его редкостной и разносторонней одаренности много пишут. Но, как меня учил мой отец, талантливых людей много, а умных мало. Человечество вообще фонтанирует яркими дарованиями, а вот умный человек — это огромная редкость. В Сергее это сочеталось. Его работы, теоретические прежде всего, демонстрируют именно сильный аналитический ум, который выглядел парадоксальным в значительной степени потому, что то, что он понимал, казалось другим парадоксом. В его, к сожалению, очень небольшом наследии особую роль сыграла знаменитая статья про институциональное шунтирование<sup>13</sup>. Это был интеллектуальный прорыв высочайшего уровня, эта статья должна войти и, по-моему, уже входит в анналы. Высшая похвала для научной

<sup>13</sup> С. Козлов, *Сообщество выскочек. “Субъективный фактор” реформы высшего образования во Франции эпохи Второй империи*, “Новое литературное обозрение”, 2009, 100, с. 583-606.

идеи, когда её обсуждают, как аксиому, не зная, кому она принадлежит. Мне также очень близка и интересна его статья о Вебере<sup>14</sup>, вызвавшая резкие возражения Сергея Николаевича Зенкина<sup>15</sup>, тоже замечательного теоретика и мыслителя. Направление, в котором работал Сергей Козлов, меня вдохновляло, открывало теоретические горизонты. Очень жаль, что он так немного сумел сделать, несообразно своему потенциалу и силе ума.

**М.В.** Самый последний вопрос. Если мы посмотрим на то, что Сергей Леонидович и другие коллеги делали в 1990-е и в начале 2000-х годов, то мы увидим, что они решали проблему интеллектуальной периферии. Прежде цензура не позволяла переводить и печатать на русском языке большое количество теоретических работ, таким образом роль их деятельности в развитии российской гуманитарной науки огромна. Это фактически введение в научный оборот огромного количества текстов — кратких, как правило, — которые иллюстрируют тот или иной метод, возможно, уже давно известный и апробированный в Европе, Америке или других частях света, но не в России. С Вашей точки зрения, что последовало затем? Если мы посмотрим на то, что было сделано в России начиная с середины 2000-х до 2022 года, то какой можно выделить следующий этап? И что происходит сейчас?

**А.З.** Вы совершенно правы: для Сергея Леонидовича Козлова, Сергея Николаевича Зенкина и многих других участников этого процесса, задача выведения русской науки из периферийного гетто была очень важной. Я бы, конечно, подчеркнул роль в этом процессе издательства и журнала “Новое литературное обозрение”. Создавшая и возглавлявшая журнал, и издательство Ирина Дмитриевна Прохорова и ее сотрудники, среди ко-

торых в разное время были оба названных Вами тезки, сыграли решающую роль в этой работе. В то же время и Козлов, и Зенкин были не только популяризаторами современной западной теории, но и оригинальными теоретиками. Популяризация, построенная по модели “А вот еще смотрите, что есть интересного”, тоже полезна, но гораздо значимее популяризация, основанная на подходе: “Давайте работать самостоятельно, опираясь на те или иные идеи и подходы”. Люди, способные так работать, были. Двумя выдающимися авторами, которых Вы назвали, дело не ограничивалось. Таких было немного, но были основания предполагать, что станет больше. Казалось, что можно было рассчитывать на то, что этап ученичества будет быстро пройден и будут формироваться собственные школы, собственные теоретические направления. Этой трансформации помешали два независимых друг от друга процесса. С одной стороны, на мой взгляд, в XXI веке западная теория оказалась куда более бедной сравнительно с тем, что было во второй половине XX-го. Требование политической актуальности привело к сужению и уплощению мысли. Огромный ущерб гуманитарии, по моему мнению, принесла приобретающая эпидемическую популярность идея, что культура в целом и наука в частности есть продукт классово-расовой или гендерной доминации, а научной истины не существует и стремиться к ней бессмысленно и вредно. Поскольку российская наука продолжала себя ощущать как периферийная, то ухудшение качества мысли в метрополии здесь неизбежно усиливалось. Все большую популярность стали приобретать законченные шарлатаны. Это одна сторона дела. С другой же стороны, что было еще страшней, уже собственно в российской общественной жизни и гуманитарии стала нарастать ориентация на примитивную самоизоляцию, которую даже консерватизмом нельзя называть. Обычно люди, которые хотели объявляли себя консерваторами и традиционалистами, выступали за какую-то дикую, чаще всего никогда не существовавшую, а придуманную ими самими архаику, смывающую все живое. Вопрос, сколько это продлится? Если дело ограничится, как два раза уже

<sup>14</sup> С. Козлов, *Крушение поезда: Транспортная метафорика Макса Вебера*, “Новое литературное обозрение”, 2005, 71, с. 7-60.

<sup>15</sup> С. Зенкин, *Синтетический паровоз (О статье С. Козлова Крушение поезда. Транспортная метафорика Макса Вебера)*, “Новое литературное обозрение”, 2006, 78, с. 147-165.

было в русской истории, мрачным семилетием в XIX и XX-м веке то это еще ничего. У нас есть надежда.

**М.В.** А если семидесятилетие?

**А.З.** В советское семидесятилетие в гуманитарной мысли первые двадцать лет были достаточно плодотворными. Даже во время террора тридцатых годов интеллектуальная жизнь продолжалась. Всё окончательно выключили и запретили после войны, чтобы дух свободы, принесенный фронтовиками, не развратил страну, как это было после наполеоновских войн. Но в 1953 году после того, как откинул копыта отец народов, всё снова стало оживать. Человеческую мысль успели раздавить, но не успели заровнять с землёй. Если сроки окажутся сходными и российская наука к началу 2030-х годов начнёт выходить из этого морока, то вполне есть на что надеяться. Есть сильные умы, есть думающие молодые люди. Если же все это помрачение продлится исторически длительный срок, то дело плохо. Увы, это не первая гуманитарная традиция и не первая культура в истории человечества, которая прекращает своё существование. Как написал Дмитрий Быков в одном из своих стихотворений: “Так случалось со всеми: и с Римом, и с викингом, Бог немного спас, а ненужное выкинул”. Это не исключено. На сегодняшний день, по моим оценкам, точка невозврата еще не пройдена. Будет ли она пройдена, не берусь сказать. Я, вполне вероятно, не узнаю ответа на этот вопрос, но Вы, наверное, узнаете.

◇ *Theory in the Humanities: Functions and Practices. A Conversation between Mikhail Velizhev and Andrei Zorin* ◇

**Abstract**

This conversation between scholars Mikhail Velizhev and Andrei Zorin covers why theory is needed in the humanities, the functions of theory in humanities education, the role of theory in Andrei Zorin's research, theory in the United States and Europe, the situation of theory in Russia, and the methodological preferences of the two scholars.

**Keywords**

Theory of the Humanities, University Education, History of Europe and Russia.

**Authors**

*Mikhail Velizhev* (b. 1980) is a specialist in Russian and European intellectual history and in the history of Russian literature, Associate Professor of Russian Literature at the University of Salerno, Italy. He holds two doctoral degrees – from the State University of the Humanities (2004) and the University of Milan (2006). In 2007–2008 he was a Max Weber fellow at the European University Institute in Fiesole (EUI). Until 2022 he was Professor of Russian Literature and Culture at the Higher School of Economics University (Moscow, Russia). His research interests include the history of Russian literature and culture, Russian intellectual history, the history of political thought, the methodology of the human sciences, and microhistory. Velizhev is one of the editors of the “Intellectual History” series of the “Novoe literaturnoe obozrenie” publishing house, which also includes two special series devoted to microhistory and Italian studies. He has published several articles and books, in particular *Civilization, or War of the Worlds* (2019) and *Chaadaev's Affair: Ideology, Rhetoric and Power in Russia in the Epoch of Nicholas I* (2022).

*Andrei Zorin* (b. 1956) is a literary scholar and cultural historian. He received his PhD from Moscow State University. He has taught at the Russian State University for the Humanities, the Moscow School of Social and Economic Sciences, and several US universities (Harvard, Stanford, NYU, University of Michigan Ann Arbor, etc.). Since 2004 he is Professor and Chair of Russian at Oxford University. He has published more than 200 works on the history of Russian literature and culture including: *By Fables Alone* (Russian Literature and Official Ideology in Late 18<sup>th</sup> – Early 19<sup>th</sup> Century) (2014, Russian version 2001); *On the Periphery of Europe: The Self-Invention of the Russian Elite, 1762–1825* (2018, with A. Schönle); *Leo Tolstoy. A Critical Life* (English and Russian versions 2020); *The Emergence of a Hero. From the History of Russian Emotional Culture of Late XVIII – Early XIX Centuries* (2023; Russian version 2016).

**Publishing rights**

This work is licensed under **CC BY-SA 4.0**



© (2024) Mikhail Velizhev, Andrei Zorin